Что значит быть поэтом из Долины царей? Если опустить описание курганов, то это такое блюдечко, окаймлённое Саянами, — продувается всеми ветрами и просматривается докуда хватит глаз. Возделываешь ты, положим, землю, а на горизонте возникает кочевник и направляется в твою сторону с явным братоубийственным намерением. И ни лошади у тебя нет, чтобы спастись, ни укрытия толкового. Ещё утром ты заприметил свою смерть, а настигнет она тебя только к вечеру. В таких условиях, вольно или невольно, формируется фаталистичное, едва ли не самурайское мировосприятие. Для обыкновенного человека это, в общем-то, сомнительный подарок. А для поэта, конечно, лучше не придумаешь — жить с непрерывно щемящим сердцем.

Судьба Анатолия Кыштымова, к сожалению, типично-поэтична. Мальчик, родившийся в хакасской деревне (кыштымами назывались обложенные данью зависимые народы) и ошалевший, утративший дар речи от окружавших его цветов, голосов, запахов. По сути — от окружавших его невысказанных стихов. И он нащупывает эти стихи у себя во рту, пробует придать им звучание, начинает говорить на их языке. Детство: степи, озёра, тайга, степи. Стихи. Ранняя смерть отца. Забота о матери и о сестре. Стихи. Затем — двойное потрясение: родственная душа и любовь, оказавшаяся несчастной. Оказавшаяся — и оставшаяся с ним надолго, а скорее всего, как это свойственно любви, навсегда. По словам Ларисы Катаевой, о которой зашла речь (поэта, а также корреспондента абаканской газеты — женщины на несколько лет старше Кыштымова), она была поражена, услышав, как незнакомый юноша в селе Московское читал со сцены стихотворение:

Деревья расплетают косы
И листья падают… Шурша

Упала осень на берёзы,
На стебелёчки камыша,
На нас с тобой, на наши плечи,
На губы тёплые твои…
Стоят берёзы, словно свечи,
А листья жёлтые — огни.
Огни, огни… Нам осень явно
Спешит ресницы опалить,
А мы стоим, как изваянья,
И время, кажется, стоит.
А мы не задаём вопросов,
Мы просто так стоим и ждём,
Когда по нам ударит осень
Крупнокалиберным дождём.

Произошло это в 1970 году, когда Кыштымову было 17 лет. Вероятнее всего, мы имеем дело с некоторой мифологизацией, как это часто оказывается в случае с Кыштымовым, а стихотворение написано позже (оно выглядит достаточно зрелым). Но так или иначе, именно тогда его стихи становятся поэзией. А с ней соседствует многолетнее существование в невидимых, но осязаемых жерновах. В 1974 году Кыштымов — в ту пору студент филфака Абаканского педагогического института — женится на Людмиле Шушпановой, становится приёмным (и примерным!) отцом её сына, и постепенно культурная и социальная изоляция всё больше сгущается: хакас, женатый на русской женщине и пишущий стихи на русском языке. Стихи не воспринимаются маститыми коллегами и не печатаются (исключения составляли газеты, в которых работала Лариса Катаева). Кыштымов выпускает свои стихи самиздатом, который он называет «Сампич» («Сам пишу, издаю, читаю»). Непонимание, непризнанность, неприкаянность растут. Как следствие — неверие в себя. Ненайденная поддержка в последние месяцы и дни. Трагический финал, петля. 1982 год, 29 лет. Как сказал сам Кыштымов в одном из стихотворений, «болью насытившись досыта».

В то же время за этой земной фабулой разворачивался свой — неземной — сюжет. В какой-то момент у Кыштымова стали получаться стихи, совсем не похожие на ранние, и он — словно бы заново, самостоятельно — изобретает и разрабатывает «вторую культуру», находящуюся в тени первой:

Посмотри в мои глаза,
Назови своё мне имя…
Что-то хочется сказать
Между днями и родными.

Маму б только не пугать,
Одному побыть в квартире…
Плакать в длинную кровать,
Слушать, как там в вашем мире?..

Это действительно теневые, страшные (бесстрашные?) и безысходные стихи — полная противоположность основному корпусу его поэзии, светлым, открытым и даже восторженным текстам. Поэт Анатолий Маковский говорил, что у всякого настоящего поэта один глаз смотрит наружу, а другой — внутрь. Так и у Кыштымова мы имеем дело с двунаправленным зрением. С непосредственностью ребёнка он пытается передать своё восхищение миром, и в таких стихах (их большинство) нет места трагедии, это стихи самозабвенья. Здесь «у мальчишек вырастают плечи», а сердце поэта отдаётся людям и природе — на равные части. Это стихи-утопии — бесконечные, отчаянные и в итоге — безуспешные попытки воссоздать утопию детства. Одновременно с этим, в соседних стихах, — горькое отчаяние, которое поэт выплавляет в устойчивые формы и словно пытается таким способом отделить от себя. В этом расщеплённом состоянии почти невозможно жить. Стихи продуцируют его, и вместе с тем лишь в стихах может быть выход. В поисках выхода поэт находит самые пронзительные строки. Например, такие:

И мама вышла. Не сидится.
(Не видно мне её лица…)
Крылом давно убитой птицы
Сметает белый снег с крыльца…

Образ сам по себе очень красивый, но примечательно другое. Казалось бы, в стихотворении возможно всё, автор — демиург. Здесь же мы, напротив, сталкиваемся с бессилием автора: лица мамы не видно, как ни старайся. Мама — сквозной персонаж во многих подобных стихотворениях Кыштымова. В другом тексте нам всё-таки удаётся увидеть её лицо:

И мама, обернувшись, на меня
Посмотрит вдруг так больно и тревожно,
Как никогда до нынешнего дня…

И в то же время присутствие мамы в стихах — словно бы косвенное, мама в них абсолютно невесома:

Я беру снежинку, как ромашку…
«Любит ли, не любит»… — ворожу…
Ты к окошку подбежишь в рубашке,
Крикнешь: «Мама! Снег!»
Я напишу…

Безусловно, путь Кыштымова — это путь воина. Но этот путь достался мальчишке. Он поднимает отцовский меч и с бесстрашием смотрит в лицо неминуемой развязке. Бесстрашие воина — это не священное безумие берсерка, это ежесекундное преодоление страха. Но мальчишке удерживать оружие всё тяжелее, он старится с каждым следующим — настоящим — стихотворением:

Выйдем, милая, под небо,
Чтоб в снегах оставить след;
Как рассохшаяся мебель,
Будем в улицах скрипеть!

В Хакасии за Кыштымовым закрепилась слава певца родной природы с её разнотравьем и многоголосием — поэта, наследующего как Есенину с Рубцовым, так и памяти многих поколений предков, ярко сумевшего передать миллионы красок весны, лета и особенно — осени. Действительно, всё это — заметные составляющие поэтики Кыштымова. Но странным образом почти все лучшие, самые важные стихи его посвящены зиме, снегу: «Снегопад» («Вниз обвалом небывалым…»), «Снег шёл всю ночь. На чёрном фоне…», «Не скрипят, как первый снег…», «Опускаю руки в струи снега…» и т. д. И даже береста, стекающая по берёзам, «чтобы ромашкам красить лепестки», в одном из «летних» стихотворений, напоминает о зиме.

На этом противоречии строится всё развитие Кыштымова как поэта. Сделать контрастный, фотографически чёткий снимок

окружающего мира не удаётся, мир ускользает, и Кыштымов работает с антимиром, где сковано пространство и редуцировано время. Он призывает зиму на помощь, чтобы остановить мгновение, — словно бы дует на блюдце степи, и вот мы уже имеем дело с замершим, замёрзшим миром, родственным, наверное, гравюрам Хокусая или, как сказано в стихотворении Александра Рихтера, «будто рембрандта эстампы / здесь печатает зима». Это спасительная соломинка для Анатолия Кыштымова, секретная калитка, приоткрывая которую, можно примирить внутричерепное давление с атмосферным. Стихия снега как единственное состояние, в котором становится возможно и жить, и говорить.

Поэт Станислав Михайлов сравнивает застывшее, неисчислимое время стихов Кыштымова со сном («Уснула река / в своём логу», «Это всё я придумал. / В мире этого нет»). Но сон этот — не беспамятство, а, напротив,— оберег памяти. Засыпаешь в обыденной реальности, просыпаешься в вековой. Просыпаешься, понимая нерасторжимое единство человека, реки, камня… Мнимое и реальное едино как две стороны одной монеты. Монета давно потеряна, и именно детским ощущением её утраты оплачена связь между прошлым и будущим. А кем бы мы были без потерь?

Сила Кыштымова — сила детскости:

Опять багряный лист поблёклый
Вдруг закружился — вестник осени.
А ветер дунул, и на стёкла
Их прилепил, штук пять иль восемь.

«Штук пять иль восемь» — так может сосчитать только ребёнок. Осень у него неотделима от весны («А я — такой чудак наивный, / что мне и осенью — весна!..»), и зиме в этом «дневном» мире вроде как и нет места. Зима, как сон, существует в своём времени. В «ночном» мире Кыштымова всё конвертируется в снег:

На асфальты, на ухабы,
Тяжелы на вид и вес,
Снежные большие бабы
Падают вдали с небес!

С небес падают не снежинки, а снежные бабы (ср. у Александра Денисенко: «Это мёртвые давным-давно / с неба девушки летят-летят…») — как овеществлённое время, потраченное на тщету. Как неминуемое орудие, остужающее Пепперлэнд. Как мёртвая вода, заживляющая рубцы, — но где взять живую? И всё-то здесь нескладно: тоска по звуку («Как пропеллер на морозе, / Серый кружится дымок») в обеззвученном мире, безмолвный тяжёлый опыт, падающий на голову, оглушающий, лишающий детского восприятия мира и понимания его первородности. Стихи как видения смерти: мама и мёртвая птица; люди, подобные старой мебели. От таких стихов больно и светло, а вернее даже — светло и больно. В них стыд за собственную суетность, в них же и восхищение красотой мира, и предвосхищение ещё одной снежинки, заклинание ещё одного дня жизни. В каждом стихотворении есть момент слабости, растерянности, но не как тупик, а как стоп-кадр. Надо готовиться к потерям, уходам, утратам — к противостоянию им. Снег стирает чужие (чуждые красоте мира) каракули. Каждый может дышать, любить, падать и подниматься. Снег Кыштымова — это мифологема, встающая в один ряд с другими стихиями. Он не погодное явление, а стирательная резинка Бога.

И смерть — как гость, которого надо приветить, вочеловечить, понять и простить. И тогда неизбежный наш уход — это всего лишь ответный визит с дарами и тёплым сердцем. А жизнь не кончается — снег будет всегда и мы будем всегда, став этим снегом («Снежинки — они одинаковы…»). Для Кыштымова это не досужие философствования, а серьёзные поэтические открытия, которые проникают через него как через дыру между мирами изъяснённым и неизъяснённым, раздирая её края.

Основополагающее место снега и всех связанных с ним коннотаций роднит Кыштымова с наиболее значимыми сибирскими поэтами 1960–70-х годов — Анатолием Маковским, Иваном Овчинниковым, Александром Денисенко, Владимиром Поташовым, Владимиром Брусьяниным и др. Снег в их стихах становится средством причастия — уравнивает, стирает хорошее и плохое, одаряет — одновременно — невинностью и безнаказанностью, болезненностью и необыкновенной регенерацией, обновляемостью и неизменностью. Снег заметёт следы, и времени больше не будет. Александр Денисенко называет таких поэтов «снегопоклонниками».

В 27 лет Анатолий Кыштымов написал письмо в журнал «Юность» (к письму прилагалось 11 стихотворений). Оно осталось неотправленным. В нём среди любимых поэтов Кыштымов называет Пастернака, Слуцкого, Вознесенского. Вероятно, он был знаком и с творчеством некоторых других современных ему авторов (например, метаметафористов). Но так или иначе, находясь в изоляции большей, чем, скажем, поэты Новосибирска или Томска, Кыштымов в лучших текстах совершал свои личные открытия, лежавшие в русле развития поэзии Бронзового века и связанные, в частности, с практиками наивного искусства и неопримитивизма, что также свойственно представителям Сибирской поэтической школы:

Снег шёл всю ночь… И лишь под утро
Снежинок меньше, меньше стало,
Их стало меньше почему-то,
И вот — последняя пропала…

Или:

Он сидит, чернеет, смотрит в небо,
От снежинок не уводит нос.
Думает, наверное (наверно!):
«Сколько белых мух! Сколько стрекоз!»

Но сибирская поэзия — почти неизбежно — поэзия аутсайдерства. Сюжет убегает вперёд, фабула тормозит, сказка сказывается чересчур скоро. Кажется, лишь однажды безвременные стихи нечаянного старика смогли совпасть со стихами чуть притихшего мальчишки:

Есть в осени что-то от старой иконы…
Такое же золото, так же горит.
И кто-то за золотом этим, спокойный,
Сюда, не мигая, глядит и глядит…
Как рама иконы — деревья чернеют.
И нет никого, только взгляд до нутра…
И хочется встать перед всем на колени
И так, в тишине, простоять до утра.

Это стихи-озарение, стихи-смирение, стихи-покаяние. Тихая исповедь. И в то же время — воплощение тоски по таким стихам. Раз достигнутые, они делаются ещё более недостижимыми.

Подснежный мир, сделавшись названным, не становится от этого менее безысходным. И нам предстаёт другой вариант развития поэтики Кыштымова. Прямые, на грани штампа строки, с холодным спокойствием описывающие (едва ли не протоколирующие) положение вещей:

Сгорает сигарета.
И мы вот так сгорим…
И так же незаметно
Исчезнет след, как дым…
Жизнь выбросит окурок,
Настанет тьма и тишь…
Чего ж ты так понуро,
Задумавшись, сидишь?

Это стихотворение — полная противоположность предыдущему, смирение в нём имеет совершенно иную природу, которую иначе, чем с присутствующей здесь холодной иронией, выразить невозможно. Все слова уже сказаны, осталось воспользоваться самыми простыми, далее — молчание.

Внешне фабула и сюжет Анатолия Кыштымова завершаются одинаково. Только по фабуле поэт Кыштымов проиграл, оказавшись в патовой ситуации. По сюжету же Кыштымов-солдат, стихами стянувший на себя превосходящие силы противника, повторил подвиг Марата Казея и смог уйти непобеждённым. Чего ж ты так понуро, задумавшись, сидишь?